

ФЕДОР МИХАИЛОВИЧ

ДОСТОЕВСКИЙ

1821-1921

У христиан есть ангел-хранитель, а у язычников был демон благой, «демон Сократа», предостерегавший их о том, чего не надо делать.

Мой ангел-хранитель или мой демон шепчет мне на ухо: «Молчи о Достоевском, ничего ни с кем не говори о нем сейчас, ни с европейцами, ни с русскими, — с русскими особенно».

Я исполню этот завет: ничего не скажу о самом Достоевском, буду говорить только около него. Чтобы сейчас говорить о нем самом, как следует, надо бы понять и передвинуть его всего, всю громаду, гору его. «Если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали бы горе сей: сдвинься»... Но ведь, если бы мы вообще имели веру, то не случилось бы с нами и с Россией того, что случилось.

С русскими говорить сейчас о Достоевском, о славе России, когда самой России нет, — тяжело, стыдно, страшно. Не предсказывал ли нам Достоевский: вы Россию погубите. И вот погубили. Ни перед кем мы не чув-

ствуем себя такими виноватыми, преступными, как перед ним. Прежде, чем о нем говорить, не следует ли нам подумать, что ему сказать; прежде, чем его венчать, не следует ли нам себя оправдать перед ним?

О, конечно, сейчас лицо его озарено таким ослепляющим светом славы, как еще никогда! Но ведь это озарение — зарево того пожара, который испепелил Россию.

Совершились пророчества, — вот в чем слава пророка. Слава Достоевского — гибель России. Не мог ли бы он сказать нам, прославляющим его:

Гакою тяжкою ценою Я вашей славы не куплю.

Странны судьбы людей в наши дни, всех вообще, а великих особенно. Странны, но для нас не ужасны, а скорее, смешны. Мы так привыкли к ужасам, что почти уже не ощущаем их, или ощущаем как во сне. Не медленно растущее нагнетение этих сонных ужасов, а только внезапный, по лицу ударяющий бич смеха — вот последнее, единственное, что иногда еще пробуждает нас от нашего сна.

Да, святые и ужасные некогда, ныне для нас только странны и смешны судьбы великих людей.

Не смешно ли, не странно ли, что там, в бывшей России, празднуется сейчас сотая годовщина Достоевского, заклинателя русских «бесов» теми самыми бесами, которых он заклинал, изгонял из России? И как торжествуют они, как смеются над ним: «Ты хотел нас изгнать, но вот, не ты — нас, а мы тебя изгнали!»

Разрешит ли чествование русской национальной славы интернациональный Троцкий-Бронштейн? Разрешит. Почтит ли благоразумный Ленин «безумного» пророка? Почтит. Милосердный Луначарский, простит ли «жестокий талант» Достоевского? Простит.

Но, если это — «слава», то воистину мог бы он сказать нам:

Такою тяжкою ценою Я вашей славы не куплю.

Да, если бы все мы, русская интеллигенция, русское сознание и совесть, в последнем счете, все-таки решавшие судьбы России, не отделались с такою легкостью от Достоевского, как от «безумного» пророка и «жестокого таланта», — то Россия не погибла бы.

Трудно, почти невозможно сейчас говорить о Достоевском с русскими людьми, со своими, а с чужими, с европейцами — еще труднее, еще невозможнее. Ведь русская литература для нас, потерявших родину, — родина последняя, все, чем Россия была и чем она будет. Но между «была» и «будет» — «есть». Как преодолеть это «есть»? Как его принять или отвергнуть? Кто это может, кто смеет?

Русская литература для нас то же, что для древнего Израиля — «Закон и Пророки». Исполнился ли наш «Закон»? Исполнятся ли наши «Пророчества»?

Не только говорить об этом с чужими, но и думать наедине с самим собою — все равно, что перевертывать нож в ране.

Русская литература — «Закон и Пророки» для нас. А для европейцев что?

Старославянский и русский язык всех вообще европейцев, чужеземцев называет «немцами», «немыми». Русские, славяне — единственные «люди слова», а все остальные народы не только германцы, «немцы», в частности, но и вообще все, кроме нас, — «немые».

Вот безумная гордыня или дикое варварство. Не за них ли мы и наказаны? Но, оставляя в стороне вопрос о вине, и о казни, надо признать, что само ощущение правильно. Мы ли глухи, европейцы ли немые, но мы друг друга не слышим. Русская литература для них — не «Закон и Пророки», а «игра и забава». — «Ты для них — как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, — говорит Господь пророку Своему. Они слушают слова твои, но не исполняют их... ибо они делают из этого забаву... Когда же сбудется, — вот уже сбывается, — тогда узнают, что среди них был пророк» (Иезек. 33, 32—33).

Русский пророк, Достоевский чувствовал сильнее, чем кто-либо, ужас этой немоты бездонно разделяющей. Но если Достоевский причастен безумной гордыне, то уж во всяком случае, не дикому варварству. Кое-что смыслит он в европейской культуре, — может быть, даже больше самих европейцев. За что-то любит Европу, «страну святых чудес», хотя иногда и кажется ему, что эта страна — уже «кладбище».

«У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа», — это он сказал. Но он же сказал и другое: «Верьте мне, все они (европейцы) ненавидят нас, русских, животною ненавистью и когда-нибудь бросятся на нас и съедят».

Достоевский еще ужасался и возмущался; мы теперь спокойны. Кое-чему научила нас агония четырехлетняя, — между прочим, спокойствию.

Волк есть ягненка. Разве это ужасно и возмутительно? Волк невинен. Или, может быть, не следует унижать волчьей невинности сравнением с невинностью бывших, культурных, бывших христианских народов? Ведь все-таки волк о ягненке кое-что знает. А когда при столкновении двух космических тел, двух громад вещества бездушного, одна разрушает и поглощает другую, то они ничего друг о друге не знают. Гак сейчас о России ничего не знает Европа.

Надо же, наконец, правду сказать: то небывалое во всемирной истории, что сейчас происходит, — не смерть, а убийство. Нет, не мы умираем, а нас убивают.

Европа хочет съесть Россию. Съест ли, это еще вопрос. Но, если даже съест, то пойдет ли ей съеденное впрок? Не будет ли пища отравой?

«Великие русские писатели суть великие отравители европейского духа», — это говорит о А. Толстом и До-стоевском один из самых пронизательных немецких критиков (Felix Salten). Я не знаю, так ли это; но знаю, что это может быть так: лекарство может быть ядом, и яд — лекарством.

Кто кого отравит, кто кого убьет, я тоже не знаю, но знаю, что борьба России с Европой — вековая борьба. Это знал и Достоевский. Но Достоевский никогда не забывал, что исполнение европейской, всемирной культуры не в борьбе, а в мире Востока с Западом. Ибо что такое христианство, глубочайшая и донныне единственная основа всемирное, как не «свет с Востока», свет соединяющий, та «молния, которая блистает с востока и видна бывает даже до запада». Что не было, нет и не будет иной молнии соединяющей, иного начала всемирное, Достоевский знал, как никто. Он также знал, что, если первая молния, сплавившая народы во всемирный сплав, была началом христианской истории, то молния вторая будет началом христианского Апокалипсиса. Воля европейского Запада — воля к бесконечному прогрессу, в смысле «дурной бесконечности», к царству человеческого, к истории; воля русского Востока — воля к благому концу, к царству Божьему, к Апокалипсису.

Если гибель России есть только наш Апокалипсис русский, наша гибель национальная, то нам надеяться не на что: мы погибли окончательно. Но это не так: наш русский апокалипсис в России начался — в Европе кончится; наша гибель есть гибель Европы, наше спасение — спасение Европы. Этого опять-таки никто не понимал лучше Достоевского. С первых веков христианства не было сказано никем с такою потрясающей силой реализма внутреннего, психологического, и внешнего, исторического: «Конец мира идет». (Предсмертные слова Достоевского из «Записной книжки»).

Если одна половина пророчеств его - то, что о России, уже исполнилась с точностью, — то не исполнится ли с такою же точностью и другая половина, то, что о Европе? И конец Европы не будет ли еще ужаснее, апокалипсичнее, чем конец России? Простим ли мы тогда или скажем: «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

Я себя не обманываю, я знаю, как трудно, почти не-возможно сейчас в Европе говорить о христианстве и о христианском Апокалипсисе так, чтобы это не было «игрой и забавой». Но, не говоря об этом, что сказать о Достоевском, когда весь смысл его в этом и только в этом? Одно из двух: или он, в самом деле, — не больше, чем «певец с приятным голосом», — но тогда стоит ли говорить о нем в эти страшно серьезные дни? или он — напоминание вечное о том, что христианство и христианский Апокалипсис не только были, не только был Христос.

И, если когда-нибудь скажет Восток. Запад был, была Европа, Europa fuit, то это будет возмездие за то, что Европа сказала: Христос был, Christus fuit.

Для Европы Он был, а для России, России подлинной, России Достоевского, — Христос был, есть и будет. Когда выйдут «бесы» из бесноватого, то снова сядет он у ног Иисусовых. Достоевский и это предрек. Христос не только был, но есть и будет — вот где для вас, европейцы, наш «яд», или наше «лекарство», вот где черта немоты бездонно разделяющей.

Это знал и Достоевский. Но Достоевский никогда не забывал, что исполнение европейской, всемирной культуры не в борьбе, а в мире Востока с Западом. Ибо что такое христианство, глубочайшая и доныне единственная основа всемирности, как не «свет с Востока», свет соединяющий, та «молния, которая блистает с востока и видна бывает даже до запада». Что не было, нет и не будет иной молнии соединяющей, иного начала всемирности, Достоевский знал, как никто. Он также знал, что, если первая молния, сплавившая народы во всемирный сплав, была началом христианской истории, то молния вторая будет началом христианского Апокалипсиса. Воля европейского Запада — воля к бесконечному прогрессу, в смысле «дурной бесконечности», к царству человеческого, к истории; воля русского Востока — воля к благому концу, к царству Божьему, к Апокалипсису.

Если гибель России есть только наш Апокалипсис русский, наша гибель национальная, то нам надеяться не на что; мы погибли окончательно. Но это не так: наш русский апокалипсис в России начался — в Европе кончится, наша гибель есть гибель Европы, наше спасение — спасение Европы. Этого опять-таки никто не понимал лучше Достоевского. С первых веков христианства не было сказано никем с такою потрясающей силою реализма внутреннего, психологического, и внешнего, исторического: «Коней мира идет». (Предсмертные слова Достоевского из «Записной книжки»).

Если одна половина пророчеств его — то, что о России, уже исполнилась с точностью, — то не исполнится ли с такою же точностью и другая половина, то, что о Европе? И конец Европы не будет ли еще ужаснее, апокалипсичнее, чем конец России? Простим ли мы тогда или скажем: «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»

Я себя не обманываю, я знаю, как трудно, почти не-возможно сейчас в Европе говорить о христианстве и о христианском Апокалипсисе так, чтобы это не было «игрой и забавой». Но, не говоря об этом, что сказать о Достоевском, когда весь смысл его в этом и только в этом? Одно из двух: или он, в самом деле, не больше, чем «певец с приятным голосом», — но тогда стоит ли говорить о нем в эти страшно серьезные дни? — или он — напоминание вечное о том, что христианство и христианский Апокалипсис не только были, не только был Христос.

И, если когда-нибудь скажет Восток: Запад был, была Европа, Europa fuit, то это будет возмездие за то, что Европа сказала: Христос был, Christus fuit

Для Европы Он был, а для России, России подлинной, России Достоевского, — Христос был, есть и будет. Когда выйдут «бесы» из бесноватого, то снова сядет он у ног Иисусовых. Достоевский и это предрек. Христос не только был, но есть и будет — вот где для вас, европейцы, наш «яд», или наше «лекарство», вот где черта немoty бездонно разделяющей.

Да, может быть, вы и съели бы нас, будь мы только Востоком; но мы — не Восток и не Запад, мы — Восток и Запад вместе, последняя война или последний мир Востока с Западом.

Чего же Вы хотите, войны или мира? Решайте. Но, прежде чем решать, подумайте: отчего вы так легко отравились нами? Едва прикоснулись к русской чаше — и вот уже отравлены. А все тянетесь к ней, то ли как больные к лекарству, то ли как самоубийцы к яду. Да, отчего? Не от того ли, что мы не вы, но роднее, страшнее вам, чем вы думали: вместе погибнем или вместе спасемся.

Но что бы вы ни выбрали, войну или мир, — наш выбор сделан. «Война — отец всего», это — ваше слово; в наше: «мир есть мир», мир, вселенная есть мир, примирение. Гаков завет нашего

пророка Достоевского. Этого мы никогда не забудем. Сколько бы ни враждовали вы с нами, мы никогда не забудем, что «у нас русских, две родины: наша Русь и Европа».

И, если вы сумеете вернуться к началу своему, соединить Восток с Западом, если вы исполните завет Достоевского, о Христе вспомните, то и мы вспомним о Нем: простим.